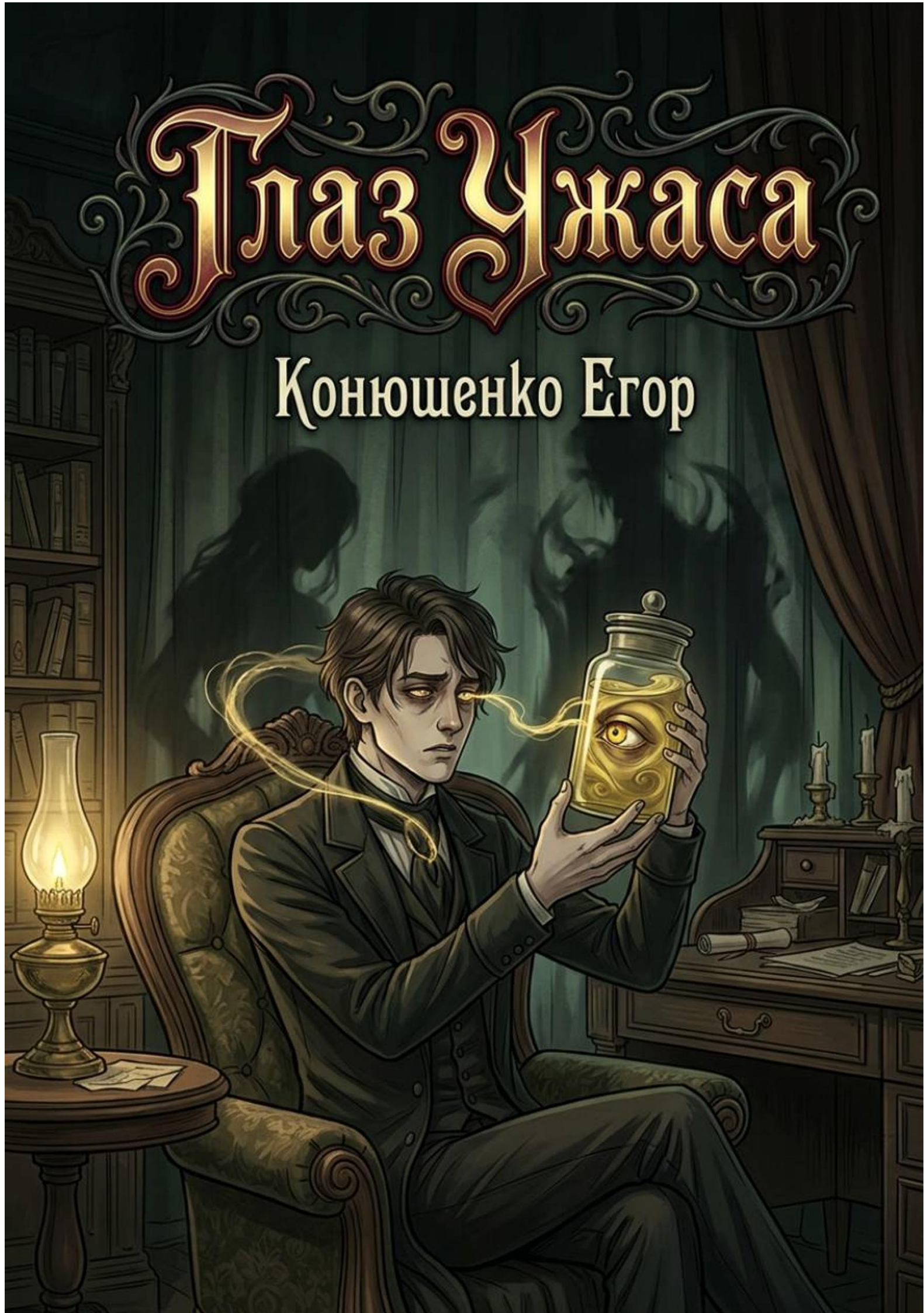


Глаз Ужаса

Конюшенко Егор



Егор Конюшенко

Глаз Ужаса

«Автор»

2026

Конюшенко Е.

Глаз Ужаса / Е. Конюшенко — «Автор», 2026

Раздавленный утратой, он покупает на аукционе стеклянный сосуд с заспиртованным глазом. Тот начинает жить своей жизнью — являть видения и пульсировать в такт сердцу. Вскоре мужчина обнаруживает, что его собственный левый глаз меняется, становясь точной копией артефакта. Но что, если он принёс в дом не только артефакт, а собственное прошлое, которое он сам же и забыл, чтобы выжить?

© Конюшенко Е., 2026

© Автор, 2026

Егор Конюшенко

Глаз Ужаса

Этой осенью бессонница сделалась моим неизменным спутником — не та благотворная бессонница, что дарует часы для размышлений, но чёрная, гнетущая немочь, при которой самые стены спальни, кажется, пропитываются ядом незримой скорби. Врачи прописывали мне опий, затем — лауданум, затем — воздержание от обоих, но ни одно из этих средств не могло заглушить той особой, пронзительной тишины, что поселилась в доме после того, как не стало моей дорогой Леоноры.

Вы поймете меня, если вам доводилось терять ту, что была не просто сестрой, но единственным живым зеркалом вашей души — существом, чьё дыхание в соседней комнате служило для вас ручательством того, что мир ещё не окончательно сполз в хаос. Теперь же её комнаты пустовали, и даже пыль, некогда такая вездесущая, словно покинула их, оставив после себя лишь холод, какого не знает ни один склеп.

Именно в одну из таких ночей, когда отчаяние моё достигло той степени остроты, что граничит с безумием, я решился посетить аукцион Бриджстоуна — предприятие, признаться, столь же нелепое, сколь и отчаянное, ибо я надеялся отыскать там хоть какую-нибудь безделицу, способную отвлечь мой воспалённый рассудок от его вечного кружения вокруг одной и той же непоправимой утраты.

Аукционный зал тонул в желтоватом, удушливом тумане, какой производят лишь газовые рожки в сочетании с дыханием праздной толпы. Я держался в тени, у одной из дальних колонн, почти не вслушиваясь в монотонную скороговорку распорядителя, выкрикивавшего цены на поблекшие гобелены и почерневшее от времени столовое серебро. Всё это принадлежало, как гласила молва, некоему разорившемуся семейству из западных графств, чей последний отпрыск то ли пустил себе пулю в лоб, то ли сгинул в морском путешествии — толком никто не знал. Меня же, признаться, занимало лишь одно: как скоро я смогу покинуть это скопище нелепых лиц и вернуться к своему добровольному заточению.

Но вот на подиум вынесли предмет, заставивший меня вздрогнуть и податься вперёд, едва не задев локтем стоявшего рядом джентльмена.

Это был стеклянный сосуд — на первый взгляд, самая заурядная аптекарская склянка, какие употребляют для хранения крепких настоек или летучих солей. Однако то, что покоилось внутри, мгновенно лишило меня дара речи. В мутноватой, отливающей сепией жидкости, неподвижно замер человеческий глаз.

Я разбираюсь в оптике иллюзий. Мне случалось видеть стеклянные протезы, искусно имитирующие живой орган, и восковые муляжи, способные обмануть неискущённого зеваку. Но здесь — клянусь всем, что мне дорого в этом мире и за его пределами, — здесь не было подделки. То был настоящий, высушенный до состояния пергамента глаз, с сохранившимся фрагментом нерва, похожим на обрывок древнего свитка. Но самое поразительное, самое невыносимое заключалось в цвете его радужки: она была не голубой, не карей и не серой, но чистейшего, пронзительно-золотого оттенка, какой бывает у закатного солнца над устьем Темзы в те редкие дни, когда лондонский смог ненадолго расступается, являя на свет Божий краски, кажушиеся почти апокалиптическими.

— Лот номер сто тридцать семь, — бесстрастно объявил аукционист, и губы его искривились в презрительной усмешке, плохо скрывавшей недоумение. — Кунсткамера, господа. Стеклянный контейнер с анатомическим препаратом. Продавец, пожелавший остаться неизвестным, утверждает, что предмет подлинный и представляет исключительный интерес для собирателей редкостей. Стартовая цена — пять гиней.

По залу пронёсся ветерок сдержанных смешков. Никто не торопился поднимать руку. Я слышал, как какой-то дородный господин в лоснящемся сюртуке шепнул своему соседу: «Дурной вкус, сэр, выставлять на всеобщее обозрение части покойников. Это удел мясников, а не джентльменов». Сосед согласно кивнул.

Тем временем моя собственная рука, словно повинуюсь не моей воле, но какому-то безотчётному, гипнотическому импульсу, взметнулась вверх. Я услышал свой голос, произнесший «Шесть гиней» с той странной, глуховатой интонацией, какой говорит человек, внезапно пробуждённый от сна.

После краткого, почти символического торга с каким-то субъектом, чьё лицо навсегда осталось для меня в тени, лот был объявлен моим. Покидая зал, я прижимал холодное стекло к груди, чувствуя, как бешеный стук моего сердца отдаётся в нём эхом. Мне казалось, что в толще тёмной жидкости что-то едва уловимо дрогнуло, но я приписал это игре света и тряске экипажа.

Человек, назвавшийся поверенным продавца, нагнал меня уже у выхода, под морозящим, ледяным дождём. Это был низкорослый, вертлявый господин с лицом, какие часто встречаются среди приказчиков похоронных бюро: бледным, стёртым, с вечной извиняющейся улыбкой на тонких губах. Он нервно тёр руки, не глядя мне в глаза.

— Позвольте передать вам, мистер Мэллори, заверения моего клиента в том, что вы совершили весьма примечательное приобретение, — заговорил он скороговоркой, оглядываясь по сторонам, словно опасаясь, что нас могут подслушать. — Весьма примечательное. Этот глаз, сэр, согласно бумагам и устным преданиям, извлекли из головы человека, которого в Ост-Индии почитали за великого пророка. Он предсказывал наводнения, падежи скота и... и судьбы отдельных людей. Власти сочли его опасным и казнили самым бесчеловечным образом. Но, как утверждают, его глаз — именно этот, левый глаз, — сохранил свою... хм... способность.

— Какую ещё способность? — спросил я, чувствуя, как немеют кончики моих пальцев, сжимающих свёрток.

— Говорят, — прошептал поверенный, привстав на цыпочки так, что его дыхание коснулось моей щеки, отдавая гвоздикой и страхом, — что он всё ещё видит, мистер Мэллори. Видит за гранью, что отделяет наш бранный мир от того, что лежит за ним. Мой клиент был бы весьма признателен, если бы вы, в случае каких-либо... необычных происшествий, дали ему знать. Исключительно из научной любознательности.

Я не ответил. Лишь резким кивком отпустил его и, сев в кэб, велел гнать домой, в мою берлогу на Эшби-сквер, где холод и тишина караулили каждый мой шаг.

В ту же ночь, запершись в кабинете, я освободил сосуд от его бумажных покровов и водрузил на каминную полку — так, чтобы свет единственной зажжённой свечи падал на стеклянную стенку ровно и не искажал содержимого. Я сидел в своём старом вольтеровском кресле, закутавшись в плед, и глядел на этот золотой зрачок, не в силах отвести взгляда. Дом вокруг меня вздыхал и постанывал под напором осеннего ветра, но здесь, в этом крошечном бастионе света, царил та особенная, звенящая тишина, что предшествует явлениям потустороннего толка.

Я не могу сказать, сколько прошло времени — час или три. Мерцание свечи гипнотизировало, и жидкость в сосуде, казалось, начала слабо фосфоресцировать. И чем дольше я всматривался в бездонную глубину мёртвого зрачка, тем явственнее меня охватывало чувство, которому я не смел дать имя. Чувство, будто я более не один в этой комнате. Будто из тёмного угла, из самой сердцевины стеклянной темницы, на меня смотрело нечто, что медленно, мучительно медленно, начинало узнавать своего нового владельца.

Весь следующий день я провёл в состоянии, близком к лихорадочному оцепенению. Солнце, пробивавшееся сквозь плотные портьеры моего кабинета, казалось мне оскорби-

тельно-ярким, чуждым — как если бы сама природа решила напомнить мне, сколь ничтожны мои ночные терзания перед лицом вечного круговращения света и тьмы. Я пытался читать — раскрытый томик Фюзели так и остался лежать на подлокотнике кресла, страницами вниз, словно подстреленная птица. Я пытался писать — перо выводило лишь бессвязные каракули, в которых мне чудились очертания всё того же золотого зрачка. Самая мысль о еде вызывала во мне физическое отвращение, и лишь крепкий, почти чёрный чай, налитый в чашку из тончайшего веджвудского фарфора, хоть как-то удерживал меня на грани между явью и тем особым родом горячечного бреда, какой порождается лишь многодневным отсутствием сна.

Леонора — вернее, память о ней — в этот день не отпускала меня ни на миг. Я ловил себя на том, что в шорохе дождя за окном мне слышится шелест её платья, а в скрипе рассохшегося паркета — её лёгкая, почти летящая поступь. Но теперь к этим привычным, почти отрадным слуховым галлюцинациям примешивалось нечто новое: навязчивое, пульсирующее ощущение, что из тёмного угла, где на каминной полке покоился мой вчерашний трофей, за мной неотступно следят. Не с праздным любопытством музейного экспоната, но с тем особым, почти хищным вниманием, какое свойственно лишь живому существу.

Когда сумерки ступили до той степени черноты, при которой даже пламя свечей кажется не источником света, но сгустком трепещущей желтизны, я вдруг ощутил странный прилив сил. То была не бодрость — нет, скорее та особая, нервическая экзальтация, что охватывает игрока перед решающей партией или приговорённого в ночь перед казнью. Я понял: меня неодолимо тянет к сосуду. И, уступив этому влечению с тем фатализмом, какой, верно, был свойственен ещё древним халдеям, всматривавшимся в чаши с маслом в поисках откровений, я вновь занял своё место в вольтеровском кресле — прямо напротив каминной полки, где в пыльном стеклянном чреве медленно покачивался золотой зрачок.

Первые четверть часа ничего не происходило. Я уже готов был обругать себя глупцом и суевером, достойным лишь презрения со стороны всякого просвещённого ума, как вдруг заметил перемену — столь неуловимую, что поначалу приписал её обыкновенной игре воображения. Жидкость внутри сосуда, до того мутная и безжизненная, начала слабо мерцать. То не было отражением свечного пламени: огонь горел ровно, не колеблясь, в то время как свечение, зародившееся в самой сердцевине стеклянного шара, пульсировало с неравномерностью, напоминавшей ритм человеческого сердца — вернее, сердца, охваченного внезапным и сильным волнением.

Затаив дыхание, я подался вперёд, до боли в глазах вглядываясь в это фосфорическое сияние. И тут — о, пусть небеса навеки сокроют от меня это воспоминание, но оно уже впечаталось в мою душу раскалённым железом! — в глубине зрачка начали проступать образы.

Сначала они были смутны, как очертания предметов на дне беспокойного пруда. Но постепенно, обретая жуткую, неумолимую чёткость, из мерцающей мглы соткалась тень моей собственной комнаты. Я видел самого себя — сторбленного, скорчившегося в кресле, с лицом, искажённым гримасой напряжённого ожидания. То был не зеркальный отблеск, но какая-то иная, inferнальная перспектива: глаз смотрел на меня из глубины сосуда, и в его роговице я существовал как насекомое, заключённое в каплю янтаря. Углы комнаты в этом видении странно искажались, линии изгибались под неестественными углами, словно само пространство здесь подчинялось иной геометрии — геометрии могильного склепа.

Но худшее ждало меня впереди. Образ комнаты дрогнул, пошёл рябью и начал таять, уступая место другому — лицу. Лицу моей сестры, моей незабвенной Леоноры, мёртвой вот уже десять мучительных лет.

Оно было точь-в-точь таким, каким я увидел его в последний раз, склоняясь над открытым гробом в промозглой часовне. Те же тонкие, бескровные губы. Та же прядка волос, прилипшая к восковому лбу. Но выражение — Боже Праведный, это выражение! — было не тем умиротворённым покоем, какой мы, живые, из жалости к самим себе привыкли приписывать

усопшим. Нет, в её широко распахнутых, стекленеющих глазах застыл невыносимый, леденящий душу страх. Страх, какой не мог присниться даже в самом жестоком ночном кошмаре, страх, превосходящий всякое человеческое понимание — словно она узрела за порогом бытия нечто такое, о чём не дано знать смертным и что не следует называть вслух.

Её губы — о, это я видел так же ясно, как вижу сейчас перо в своей руке! — её губы беззвучно шевелились, силясь произнести какое-то слово. Быть может, моё имя. Быть может, предостережение. Но из стеклянной тюрьмы не доносилось ни звука, и от этой безмолвной мольбы ужас мой достиг той крайней степени, когда рассудок, подобно натянутой до предела струне, готов лопнуть, издав последний, душераздирающий аккорд.

Дикий, нечленораздельный вопль вырвался из моей груди. Я вскочил с кресла, опрокинув пюпитр, и, сорвав с плеч плед, набросил его на проклятый сосуд, укутав его с головой, точно младенца, коего хоронят заживо. Тяжёлая шерстяная ткань скрыла и стекло, и его чудовищное содержимое. Я стоял, тяжело дыша, посреди погружённого во мрак кабинета, и лишь бешеный стук моего сердца нарушал могильную тишину. Свеча на каминной полке погасла — то ли от сквозняка, то ли от иной, не столь объяснимой причины, — и я остался в полной темноте, один на один со своим паническим страхом и смутным, но липким убеждением, что даже под тканью глаз продолжает смотреть.

Остаток ночи я провёл без сна, запершись в спальне и придвинув к двери тяжёлый дубовый комод. Рассудок мой, ещё не до конца оправившийся от пережитого потрясения, пытался найти утешение в скепсисе: разумеется, говорил я себе, всё это — лишь плод моего воспалённого воображения, лишь оптическая иллюзия, вызванная усталостью и парами консервирующей жидкости. Утром я пойду в кабинет, разоблачу собственное суеверие и, вероятно, от души посмеюсь над ночными страхами. Эта мысль принесла мне подобие успокоения, и лишь под утро, когда за окном забрезжили первые робкие проблески серого октябрьского рассвета, я забылся тяжёлым, похожим на обморок сном.

Пробудился я около полудня с мучительной головной болью и с тем жестоким привкусом на губах, какой оставляет после себя чрезмерная доза опия. Помедлив несколько минут, собираясь с духом, словно солдат перед атакой, я решительно направился в кабинет.

Дверь подалась с протяжным, жалобным скрипом. В комнате было холодно и сумрачно, и мой плед, по-прежнему наброшенный на сосуд, горбился на каминной полке бесформенным чёрным монументом. Я приблизился — медленно, на негнущихся ногах, — и уже протянул руку, чтобы сдёрнуть ткань и раз и навсегда покончить с этим наваждением.

Но рука моя застыла в воздухе, не достигнув цели. Ибо то, что я увидел, заставило кровь в моих жилах обратиться в студёную воду зимних морей.

Плед, который я прошлой ночью собственноручно, с судорожной тщательностью обернул вокруг сосуда, был сдвинут. Один край его свисал вниз, открывая почти всю стеклянную поверхность. И из-под грубой шерстяной складки, поймав луч тусклого дневного света, на меня смотрел глаз. Он более не мерцал и не являл никаких образов — нет, его взгляд был спокоен, предельно ясен и полон того особого, невыразимого выражения, какое я могу определить лишь как насмешливую осведомлённость. Словно он знал обо мне всё — каждую постыдную мысль, каждую малодушную дрожь, каждый грех, содеянный и помысленный. И это всеведение, заключённое в мёртвом органе, было преисполнено самого холодного, самого утончённого презрения.

Я отшатнулся, хватаясь за край стола, чтобы не упасть. Губы мои беззвучно зашевелились, но с них не сорвалось ни молитвы, ни проклятия — лишь судорожный, свистящий выдох, похожий на предсмертный хрип. Сомнений более не оставалось: существо, заключённое в стеклянную тюрьму, обладало собственной, непостижимой для меня волей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.